

УДК 82-3

К. В. Анисимов

Красноярск, Россия

**«ПОИСТИНЕ ДОСТОИН ИЗУЧЕНИЯ».
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКЗОТИКА
В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ
«КРЕСТЬЯНСКИХ» РАССКАЗОВ И. А. БУНИНА
(«НОЧНОЙ РАЗГОВОР» – «БУДНИ»)
СТАТЬЯ 1 ***

Исследуется роль географических экзотизмов в нарративной структуре бунинских рассказов 1910-х гг., выявляется их связь с концептами власти и культуры.

Ключевые слова: мотив, повествование, экзотика, власть, культура.

Несмотря на многократно отразившийся во многих прозаических и поэтических произведениях Бунина интерес к Востоку, несмотря на постоянные сопоставления критиками творчества писателя с традицией парнасцев [1, с. 143, 191, 220], интенсивно культивировавших экзотику, бунинские литературные картины далеких африканских и азиатских земель скрыто препятствуют восприятию этих географических миров только лишь в остраляющей перспективе. Главное правило экзотики, которое «состоит в том, чтобы не поддаться на обман понимания или близости страны или путешествия, живописности или же самого себя» [2, с. 218], часто не срабатывает у Бунина, резко сокращающего дистанцию между наблюдателем и наблюдаемым, т. е. именно «поддающегося» на «обман» «близости».

В рассказе «Пост» (1916) писатель выразил свое мироотношение ёмкой фразой: «Ей, господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Всё есть у меня, всё в мире – моё» [3, с. 149]. Апроприация *всего* мира должна, по идее, привести к редукции ощущения его внутренней разнородности, а значит, понизить значение экзотических образов в художественном мире писа-

* Исследование выполнено в рамках интеграционной программы УрО и СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».

Анисимов Кирилл Владиславович – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Сибирского федерального университета (пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041; kianisimov2009@yandex.ru; +7 (391 2) 23 07 27)

теля. Открывающее программный рассказ «Сны Чанга» (1916) восточное изречение «не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» [3, с. 107]¹, переносит смысл антииерархической равностатусности на сами объекты описания. На данную тенденцию обратили внимание в науке. Как заметила автор специальной статьи на тему экзотизмов у Бунина О. А. Бердникова, «все аспекты экзотики в творчестве Бунина – сакральный, географический, колониальный, культурологический – не делают экзотизм отличительным качеством его мировидения и поэтики. Именно ярко выраженный художественный, артистический дар Бунина вкупе с его духовно-религиозными убеждениями и четкой политической позицией позволили ему воспринять чужое как свое (а в годы революции свое как чужое), далекое (во времени и пространстве) как близкое, экзотическое как родное» [5, р. 200]. Характерна, впрочем, оговорка исследователя: в годы революции *свое* может восприниматься как *чужое*, т. е. остраняться, экзотизироваться. Только ли ко времени революции относится подмеченная О. А. Бердниковой черта?

30 июля 1911 г. Бунин сделал в своем дневнике такую запись: ««Наглый хохот черных женщин. Спросите ее об ее имени – хохот и вранье». Это из Гончарова. То же самое и в русской деревне» [6, т. 1, с. 114]². Перенос колониального дискурса на реалии отечественной жизни – довольно частый прием в репертуаре художественных средств писателя, нацеленных на анализ русской национальной специфики. Он является частным случаем обширных историософских сопоставлений России и Востока [7]³, увлеченность которыми можно наблюдать как в открыто звучащих оценках повествователя («Тень птицы», «Пыль») и сюжетах отдельных произведений («Суходол», «Соотечественник»), так и в спонтанно совпадающих фрагментах текстов, из которых один может быть никак на первый взгляд не связан с поэтикой бунинской ориентальной поэзии и прозы. Ср. синтаксически и семантически близкие пассажи из повести «Деревня» (1910) и рассказа «Отто Штейн» (1916):

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему (Кузьме. – К. А.) *глухим* краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней *жизни*, боровой, древнемужицкой, *напомнили* эти люди... [10, с. 59].

Этот ил, эти аравийские и египетские пески, эти первобытные фигуры *напоминали* о *жизни глухой*, дикой, ветхозаветной [3, с. 143].

В первом эпизоде перед нами «хохлы», «испытавшие рукопашную схватку» с волком, которых Кузьма Красов встретил на вокзале в Нежине, во втором – египетские феллахи, которых с борта парохода «Лютцов», проплывавшего Суэцким каналом, наблюдал «самоуверенный и гордый» немецкий ориенталист.

Риторика эксплицитных сравнений России и Азии очевидна. Ср. часто цитирующийся отрывок из дневника от 6 апреля 1922 г. «Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное <...>. Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какие мы Азия, какие монголы!» [6, т. 2, с. 84]. Восточная

¹ Специально об истории этой сентенции и ее роли в рассказе см.: [4, с. 97; 107].

² Неточно цитируется «Фрегат “Паллада”» Гл. 4. «На мысе Доброй Надежды». Сравнение туземных женщин с русскими крестьянками предложено Гончаровым.

³ Сравнение восточного травелога «Тень птицы» и «социальной» классики Бунина – повестей «Деревня» и «Суходол» см.: [8, с. 554–556]. Анализ параллелизма Россия – Азия в прозе Бунина 1910-х гг. см.: [9, с. 162–163].

тема, впрочем, многолика, особенно у Бунина – тонкого знатока и ценителя ориентальной экзотики. Одним из слагаемых этой темы является, в частности, и безрадостная параллель между Россией (она, как известно, в этой перспективе «вся – деревня» [10, с. 58]) и азиатской степью, которая в духе еще чаадаевских оценок – вне истории, зато чревата хаосом революций. Этот последний аспект сравнения содержится в программных статьях раннеэмигрантского периода – «Миссия русской эмиграции» и «Инония и Китеж», в которых большевизм уподоблен «ставк[е] Батыея» и «“обдорск[ой]” кабал[е]» [11, с. 355; 360]. Между тем едва ли справедливо было бы ограничивать историософские импликации крестьянских рассказов и позднейшей публицистики Бунина только знаменитым «*grattez le russe...*» Дискредитация народнического популизма осуществляется на глубинных уровнях структуры текста, далеких от внешне-событийного плана рассказа, что уже само по себе свидетельствует о существенных семантических возможностях ориентальных кодов.

Наше внимание будет сосредоточено на двух рассказах «каприйского цикла», созданных Буниным во время посещения итальянской резиденции Горького в 1911 – начале 1913 г.⁴: на вызвавшем бурные споры и считавшемся самим автором одной из вершин его анализа «мужицкой» России «Ночном разговоре» (1911) и оставшемся в тени рассказе «Будни» (1913), о котором более или менее подробно писали, пожалуй, только Н. М. Кучеровский [14, с. 144–148] и Ю. Мальцев [9, с. 164, 174]⁵. Последний, впрочем, превратил тему «ненависти» русского человека к повседневной (будничной) жизни в яркий публицистический прием своей книги, экстраполировав содержащийся в заглавии рассказа концепт на весь раздел «Загадки русской души».

Ряд особенностей организации повествования в обоих произведениях позволяет считать их сюжетными дублетами, причем написанные позднее (спустя год

и один месяц) «Будни», как часто бывает у Бунина, представляют собой сокращенную до возможного предела версию прежней более разноплановой истории. Н. М. Кучеровский в свое время точно определил принципы соотношения повествователя и героев в «деревенских» рассказах Бунина: интеллигент, олицетворяющий «наивность народнических идеализирующих представлений о русском крестьянине», является наблюдателем «страшных картин жизни “мужицкой души”» [14, с. 149–150]. Однако, если опустить ненужные сегодня социальные акценты, картина окажется сложнее. Так, еще Еленой Колтоновской в 1913 г. было подмечено, что в «Буднях» ужас внушает именно «мужик-хулиган, вкусивший вершков культуры», проблема «некультурности» при этом обретает самостоятельное значение [16, с. 176, 175]. Она в значительной степени нивелирует вполне локальный конфликт Бунина с народопоклонством единомышленников «Наумова и Нефедова», прочитать которых за лето пообещал незадачливый герой «Ночного разговора».

Действительно, даже взятые в самом общем виде, сюжетные схемы обоих рассказов демонстрируют усложнение анализа главного исторического сюжета, волнующего Бунина. Повествование в «Буднях» видоизменено прежде всего за счет ликвидации преступных откровений. Редукция этой темы, самой по себе тяготеющей к разнообразию (вспомним прекрасно известные Бунину по Ч. Ломброзо и М. Нордау ветвистые классификации преступных и, шире, деградировавших типов [17]) определяет и объем текста. «Будни» поэтому существенно короче «Ночного разговора». Текстология второго рассказа еще более отчетливо проясняет развитие замысла: из первоначальной версии Бунин со временем изъял оче-

⁴ Каприйские дискуссии Бунина с Горьким освещены в: [12; 13].

⁵ На сходство «Будней» и «Ночного разговора» кратко указал М. Л. Сурпин [15, с. 126].

видные отсылки к поэтике «Ночного разговора» с его брутальными картинками убийств, вивисекций и посмертных вскрытий. Так, исключенным оказался эпизод про зарезанную свинью, явившуюся мужику во сне, и его же рассказ о «дьяконовом сыне», который «настрачивал» его на революцию. Вспомнив эту историю, крестьянин заочно пригрозил пропагандисту: «Я ему еще припомню его речи! “Плюс на минус...” Шарахну как-нибудь вечерком из-за валу каменищем в голову, – вот тебе и будет плюс на минус!» [18, с. 104, 106]. В «Ночном разговоре» именно таким образом Федот Постный убил сначала козу («Подхватил я здоровый кирпич, изловчился – да так ловко залепил, что она аж подскакнула...» [10, с. 239]), а затем Андрея Богданова («Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча – раз его в голову!» [10, с. 241]).

Другим объектом трансформации стал событийный план сюжета. Разветвленное и многоплановое повествование «Ночного разговора» определяется кумуляцией нескольких сцен с описанием событий, в которых крестьяне-рассказчики приняли непосредственное участие. События эти – сплошь патологические злодеяния⁶. Кроме того, несомненными событиями являются сами акты рассказывания, ибо именно они шокируют главного героя и приводят его единство с крестьянским миром к распаду, что пластически выражено в заключительной сцене одинокого ухода гимназиста от своих бывших друзей, которых, «как он думал», он «хорошо узнал за лето» [10, с. 229]. Стилистически усиливает событийность рассказов работников тщательно воссозданное Буниным холодное безразличие их признаний, что не только проявляет садическую сущность персонажей, но и дискредитирует позицию слушателя, который оказывается в положении профана, боящегося поверить услышанному. «Ты же хотел рассказать, как человека убил, – с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку <...>, *не веря*, что этот самый Пашка – убийца...» [10, с. 234]. Показательна остраивающая функция услышанных историй: «И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидел то, *что прежде видел столько раз совершенно спокойно*: голую мужицкую ступню... <...> “Да, ему ничего не стоит убить! <...> Это нога настоящего убийцы!”» [10, с. 239]⁷.

Во втором рассказе событийный смысл сюжета сведен к самому факту встречи интеллигента-наблюдателя с мужиком. Если в «Ночном разговоре» встреча Веретенкина с крестьянами имеет очевидно служебное значение (кроме того, она планируется героем и в этом смысле не является неожиданной для читателя), то в «Буднях» важна именно встреча как таковая. Ее значение подчеркнуто, во-первых, внезапностью столкновения с мужиком («Отделались? – спросил он. Вопрос был *неожиданный*» [10, с. 347] – вот начало диалога; «ошеломленный таким *неожиданным* концом беседы...» [10, с. 351] – ремарка, относящаяся к ее финалу⁸), и, во-вторых, мотивами наблюдения за ним, роль которых в «Ночном разговоре» не так важна и подчинена словесному самораскрытию крестьян. «Ты поистине достоин изучения», – замечает семинарист [10, с. 350]. С энтузиазмом согласившись («Ага! – сказал он, подмигивая» [10, с. 350]) и продолжив тему, мужичок рассказал о земском музее, в который в городе «исделали и скилет крокодилий привезли» [10, с. 350]. Высокая концентрация семантики наблюдения в речи и поведении одного героя (ср. несколько ранее: «Семинарист <...> *смотр-*

⁶ Анализ рассказа как последовательной инверсии идиллических мотивов тургеневского «Бежина луга» см.: [19].

⁷ Пересечение границы от условной «нормы» к эксцентрике, фактичность и результативность как ключевые критерии нарративного события здесь налицо. См.: [20, с. 22–23].

⁸ Непредсказуемость, по В. Шмиду, – показатель высокой степени событийности [20, с. 25].

рел на удаляющиеся телеги...» [10, с. 344], «выйдя на выгон, он *посмотрел* на церковь <...>, *посмотрел* на раскрытые окна казенной винной лавки» [10, с. 345])⁹, и музейная тема в высказываниях другого сдвигают этого последнего к статусу объекта рассмотрения, экзотического экспоната, который в сознании наблюдателя недаром награждается эпитетом «нелепая и *странная* скотина» [10, с. 350–351]. Другими словами, крестьянин с точки зрения героя – примерно то же самое, что скелет крокодила с точки зрения самого мужика. Музей для него именно «нелеп», так как на него «наши денежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети!» [10, с. 350]. Характерно, что венчающая сюжет угроза крестьянина своему визави подана именно как придирка к обидному для первого факту отстраненного за ним наблюдения. «Чего *вылупился?* – сказал он зло и грубо <...>. – Я с тобой задушевно, а ты – *лупишься*. Вот подойду, измордую тебя в лучшем виде, – тогда судись со мной!» [10, с. 351].

Наконец, существенному изменению подверглась коммуникативная организация повествования. В «Буднях» диалог – вполне ложный диалог: индикаторы коммуникативного конфликта рассыпаны по всему тексту рассказа: «Да ты, впрочем, этого не поймешь» [10, с. 347]; «ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь» [10, с. 348]; «несешь и с Дона, и с моря» [10, с. 348] и т. д. В свою очередь, поток реплик мужика абсурден не столько содержательно, сколько конструктивно: эффект абсурда достигается присоединением каждой следующей сентенции не к главной, а к периферийной теме предыдущей – отсюда рассказ теряет содержательную нить, превращаясь в спор ради спора и в конечном счете в вербальную агрессию. Все это ярко оттеняет связанные и красочные истории «Ночного разговора», коммуникация в котором выстроена противоположным образом: не как монологическое *наблюдение*, но как диалогическое *общение*, *вслушивание* (показательно присутствие этих смыслов в заглавии рассказа). Для этого повествователь прежде всего решил языковую проблему, указав, что его Веретенкин «подражал мужикам» [10, с. 227], «воспринимая их говор» [10, с. 229]. Ср. диаметрально

⁹ Развитые визуальные возможности героя маркируются в программных рассказах Бунина как знаки доминирования. Так, глаза и наблюдение – основной инструментарий в контекстуально близком рассказе «Отто Штейн». Здесь герой со своими «надменными германскими глазами», которыми он «строго» глядит в ночное небо, сопоставляется с кораблем, тоже «зорко» озирающим при помощи своего фонаря «все, что было на его пути» [3, с. 143]. Специально выделен мотив долгого и пристального взглядывания в поведении Адама Соколовича («Петлистые уши»), который «сумрачно заглядывался», «внимательно изучал товарь», «долго глядел», «исподлобья оглядыва[л]» и т. д. [3, с. 121, 126, 127]. В свою очередь, подрыв идеи власти и культурного превосходства (см., например, «Братья») влечет за собой ликвидацию оптических возможностей героя. Глаза англичанина «глядели» «как-то странно, будто ничего не видя»; сам он в итоге – «ничего не видящий человек» [3, с. 12, 15]. Аналогичный признак разделяет и типологически близкий англичанину Зотов из рассказа «Соотечественник». Здесь на глазах героя черные очки, закрывающие разбитую бровь [3, с. 134]. Нетрудно догадаться, что перекодировка незрячести в религиозной парадигме, наряду с производством секулярного смысла дистанцирования от всякой власти, приведет еще и к христианской идее внутреннего зрения. Именно этот мотив мы встречаем в образе Аглаи из одноименного рассказа, удостоившейся схимы «за неглядение на мир земной» [3, с. 105]. Ср. второстепенного персонажа этого же рассказа, странника, который, будучи «не в меру зряч» и ночью видя «как кошка», «решил... сократить немного свое телесное зрение», надев на глаза повязку [3, с. 104]. Характерно, что в автокомментарии к «Аглае» Бунин прямо указал на демоническую природу его зрения: «Ведь бес! Слишком много видел!» [3, с. 670]. Приведенные примеры демонстрируют, что во взаимоотношенности «паноптизма» и власти [21, с. 285–334] Бунин вполне явственно отдавал себе отчет.

противоположную ситуацию в «Буднях», когда одна из реплик героя произнесена им по-французски («*Merci bien*, – сказал семинарист» [10, с. 350]) – очевидно, без всякой надежды на понимание со стороны мужика. В «Ночном разговоре» наиболее знаковы ремарки Веретенкина, которые он вставляет в речи крестьян и которые те либо игнорируют, либо высмеивают, обнаруживая сомнительность его статуса и ложность амбиций. Ср.: «Как? – сказал гимназист. – Кожу содрали? С живого? – Нет, с вареного, – пробормотал Иван. – Эх, ты, московский обуватель!» [10, с. 240]. Важно при этом, что тема наблюдения (скорее, впрочем, прозрения) появляется в самом конце рассказа и точно увязывается с острающим воздействием услышанного: «*Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей*» [10, с. 242].

Резюмируя эту часть анализа, можно сказать следующее. Герою «Ночного разговора» в наблюдении отказано: наблюдение заменено заблуждением идеологическим (интересом к народникам), заблуждением поведенческим (стремлением не быть собой, слиться с иным), а в процессе и после прослушивания садистских откровений – страхом и разочарованием («точно окаменел» [10, с. 230]). Необходимая для всякого наблюдения дистанция – «угол зрения» в «Ночном разговоре», ликвидирована. Напротив, подчеркнутость такой дистанции в «Буднях» – замена диалога изучением, позволяет разными способами усилить тему культуры¹⁰.

Решающим доказательством этого тезиса, возвращающим нас к главной теме статьи, является блок экзотических мотивов. Тщательно переработав сюжет об интеллигенте и мужике, убрав насилие, реорганизовав структуру коммуникации, наградив героя «Будней» поэтической фамилией Случевский, заменившей «дурацкое» прозвище Веретенкина, которым героя «Ночного разговора» «поднимали <...> на смех» [10, с. 227], Бунин оставил нетронутыми одинаковые в обоих случаях эпизоды, интерполирующие основную линию повествования и на первый взгляд никак с нею не связанные. Оба рассказа содержат упоминания о реалиях европейского колониального мира и об открытиях первопроходцев на далеких континентах. Принципиально важно размещение этих эпизодов в нарративной ткани текста. В «Ночном разговоре» гимназист Веретенкин зимой «еще играл <...> в краснокожих», но решив «посвятить все каникулы самообразованию», бросает мечты «о дальних и неведомых странах <...>, о жизни Ливингстона, Беккера» [10, с. 227–228] и переключается на «мужиков Наумова и Нефедова» [10, с. 228]¹¹. Предпочтение одного другому здесь очевидно.

В «Буднях» ситуация сложнее. Бунин вынес экзотику за рамки увлечений главного героя Случевского (он посвящает свое свободное время не колониям, а пению) и «доверил» ее периферийному персонажу – сидельцу (т. е. продавцу) в винной лавке.

«Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал “Вокруг света”¹² <...> В голове его путались острова Тихого океана

¹⁰ М. Фуко подчеркивал дополнительную дистрибуцию наблюдения и вербального общения: перспектива тотального наблюдения, в сущности, и создается властными структурами современной эпохи с целью исключить «горизонтальные» коммуникации [21, с. 293].

¹¹ Примечательно, что самой известной книгой Н. И. Наумова была «Сила солому ломит. Рассказы из быта сибирских крестьян» (СПб., 1874). Потенциальный «местный» географический экзотизм материала здесь Буниным игнорируется: ему отчетливо нужнее радикальная нерусская экзотика, нежели любые локально-областные вариации русской жизни.

¹² Статья упомянутого в «Ночном разговоре» Дэвида Ливингстона была опубликована уже в первом номере журнала «Вокруг света» (1861) [22, с. 133].

и прерии, Южный крест и Гренландия, Бразилия и кафры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чащах и гиппопотамы...» [10, с. 345–346].

Эффект от этого повествовательного смещения очевиден и выражен в недомыслии самого Случевского: «И при чем тут Тихий океан?» [10, с. 346]. Герой не понимает на первых порах, зачем *здесь*, в русской деревне, нужна экзотика. Вся риторическая программа рассказа сводится к поиску ответа на этот вопрос, и ответ мы уже знаем: «Ты поистине достоин изучения». Так, если в «Ночном разговоре» герой отказывается от доступной ему логики понимания нового для него мира, логики потенциального первооткрывателя, держащегося на дистанции от объекта наблюдения и потому сохраняющего культурную суверенность, то в «Буднях» развитие нити разговора приводит Случевского к обретению этого понимания. Финальная содержательная сцена в рассказе – это уже знакомая нам эскапада мужика о музее, делающая в глазах слушателя музейным экспонатом его самого.

В широком историко-культурном контексте обязательность «экзотической» мотивной группы в обоих произведениях обусловлена сценарием «внутренней колонизации», к которому Бунин, создатель выдающихся ориентальных текстов, оказался закономерно чувствителен. Имперская практика управления, сопровождавшаяся «искусственным производством культурных различий» [23, с. 14], была в России, территориально интегрированной империи, направлена не вовне, на заморские колонии (у России их не было), а внутрь, на собственное население, в котором крупнейшая социальная группа, крестьянство, до 1861 г. удивительно напоминала рабов – классическую реалию колониального мира, тех, кого Белинский в своем известном письме Гоголю назвал «белыми неграми» [24, с. 468]. В этой перспективе крепостные как общественное сословие располагались в той социальной нише, которую в «классических» империях занимали не сословия, но расы, ибо белые не были и не могли быть рабами. После 1861 г., сокрушая ослабевшие сословные границы, эта группа начала интенсивно интегрироваться в модернизирующееся общество – собственно этой истории, спровоцировавшей «пресловутое дворянское “оскудение”» [25, с. 9] и возвышение мужицких «князей во князьях», во многом и посвящена бунинская художественная аналитика. Косвенно о ее сопричастности имперскому культурному словарю свидетельствуют в высшей степени показательные рецензии английской прессы, разумеется, прекрасно владевшей этим же концептуальным лексиконом. Так, автор статьи о повести «Деревня» уподобил в 1923 г. бунинских крестьян ирландским кельтам, только что (в 1921 г.) освободившимся от британской опеки, а другой критик, с увлечением проецируя реалии «Деревни» на биографию ее создателя, назвал Бунина уроженцем «Центральной Азии», невольно превратив его в русского Киплинга [16, с. 620, 622, 658].

Ввиду расового тождества крестьян и их «колонизаторов» значимость собственно этногенетического критерия отличий понижалась, но культурный критерий, напротив, резко акцентировался. «Между тем язык русского интеллигента и русского мужика – совершенно различны. <...> Ни в какой стране нет такого разительного противоречия между культурной и некультурной массой, как у нас», – заявлял Бунин в разгар работы над крестьянскими рассказами [26, с. 372]. Важным объектом в рамках дискуссии на эту тему стала фигура самодеятельного писателя, широко вошедшего в словесность рубежа веков. Горьковская апология этого нового вида литератора (см. статью Горького «О писателях-самоучках», 1914) Буниным поддержана не была, хотя и прямо против проблематики и пафоса этой работы он не выступил. Существенными аргументами для понимания его отношения к проблеме стали дискредитация такого рода писательства в образе героя «Деревни» (1910) Кузьмы Красова, а также речь на юбилее «Русских ведо-

мостей» (1913). Не менее существенно и то, что свои первые шаги на поприще литературной критики сам Бунин сделал именно как рецензент и исследователь творчества самоучек – Е. Назарова, Т. Шевченко, Н. Успенского, И. Никитина [27, с. 21]¹³. Самопроекция начинающего писателя на тот социокультурный тип, травматическую связанность с которым он ощущал, в данном случае очевидна. Однако только ли на страницах публицистики и в инвективах по адресу Кузьмы Красова осталась полемика с самоучками, посягавшими, как стало позднее казаться Бунину, на незыблемые и недостижимые для них культурные вершины? Нам представляется, что рассказ «Будни» имеет прямое отношение к обсуждаемой проблеме.

Мужичок, встреченный Случевским, отрекомендовался ему так: «Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики, и то советоваться приходят» [10, с. 348–349]. Имя и фамилия героя, конечно, не случайны и разнообразными нитями связаны с бунинским ономастикомом, в котором сошлись реальные эпизоды творческой биографии писателя, его родовые предания, а также персональный литературный пантеон¹⁴. Фамилия мужика парадоксальна не просто ввиду своего аристократизма (род Протасовых известен с XIV века; в рассказе «Лапти» упомянуты барские «протасовские» луга [3, с. 316]); ощутить ее как осознанный прием помогает заключенная в ней культурная память, эффектно актуализирующаяся именно в контексте бунинского творчества. Девичья фамилия возлюбленной В. А. Жуковского (или в прихотливой бунинской транскрипции «Василия Афанасьевича Бунина») Марии Протасовой-Мойер формирует нижний слой этой аллюзивно-ономастической структуры. Фамилия толстовского «живого трупа», «негодящего» [29, с. 64], по его собственным словам, интеллигента-бунтаря, образ которого был создан главным (наряду с Жуковским и Пушкиным) для Бунина писателем, – второй смысловой слой фамилии мужика. С «Живым трупом» Бунин мог познакомиться в вышедших после смерти Толстого томах его неизданных произведений. 10 января 1912 года, т. е. за год до создания «Будней», он сообщил брату, что от многого из этих сочинений он «в диком восторге» [30, с. 199]. Более поздним указателем на возможный интерес к толстовскому сюжету о мнимом / истинном самоубийце является внедрение нового Протасова в персонажную структуру «Митиной любви» (1925) – вершины многочисленных бунинских разработок темы эроса и суицида¹⁵. Здесь малозначащий в общем контексте повествования Протасов, друг Мити по гимназии, иронически предостерегает его от судьбы любовника-самоубийцы, упомянув имя «иконы» сюжета – Вертера и процитировав финальную часть юмористического стихотворения Козьмы Пруткова о юнкере Шмидте, который у Пруткова «...из пистолета хочет застрелиться». Здесь же Протасов цитирует только конец: «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» [3, с. 340].

Постараемся воздержаться от спекуляций на тему возможной иронии Бунина в адрес Феди Протасова, покончившего с собой из чувства протеста против всего, что происходит «в нашем круге», где можно только «служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь» [29, с. 75]: в Протасове «Митиной любви» социальная депрессия его толстовского однофамильца преобразована в скучный здравый смысл, резко контрастирующий с эротической одержимостью Мити, поэтому вложенные в его уста сентенции о самоубийстве звучат подчерк-

¹³ О бунинских автобиографических импликациях в образе Кузьмы Красова см.: [12, с. 351–352].

¹⁴ О склонности Бунина к созданию ономастических центонов писал О. Лекманов [28].

¹⁵ Отмечено в: [32, с. 66].

нуто несерьезно. Отметим то, что представляется наиболее вероятным: фамилия крестьянина из «Будней» сигнализирует об известном приближении его к биографическому автору и системе его ценностей, выраженной в постоянных апелляциях к мифологизированным фигурам «классиков». Основанием для этого (конечно, чисто экспериментального) приближения являются самосознание и культура. Мужичкин Протасов (тоже, кстати, грозящий «от одной скуки» удавиться [10, с. 350] и встреченный наблюдателем не где-нибудь, а на кладбище) – думающий и рефлектирующий герой, именно поэтому он, как и его вероятный толстовский предшественник, противопоставлен своему социуму. «Я от этих мужиков теперь отбил, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...» [10, с. 348]. «Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал!» [10, с. 350]. В этом случае остро встает вопрос о качестве новообретенного культурного статуса. Возможный ответ на сей раз сосредоточен не в фамилии, но в имени героя – Назар.

Свою первую критическую работу 1888 г. о елецком мещанине Егоре Назарове, решившем стать поэтом и издавшем два сборника стихов, Бунин долго держал в памяти [33]¹⁶. Именно Назаров стал прототипом Кузьмы Красова. Нет сомнений, что после «Деревни» Бунин смотрел и на других народных интеллектуалов через призму этого героя. Позднейшие переработки образа Назарова решительно отличались своей трактовкой типа литератора-автодидакта от статьи 1888 г.: благожелательный отзыв 18-летнего юноши о своем старшем коллеге по цеху, оказавшем ему к тому же несколько важных протекций, был заменен в «Деревне» на едкое осмеяние претензий на «без наук просвещение» [10, с. 56]. Поэтика образа Назара Протасова продолжает эту линию: его разглагольствования о театре аналогичны виршам Кузьмы Красова, в которых читались «подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде» [10, с. 28]. Случайно или нет, но возрастное и «статусное» соотношение между Случевским и Протасовым напоминает пару Бунин – Назаров конца 1880-х годов: характерна «педагогическая» амбиция мужика: «Ты должен за ученье благодарен быть...» [10, с. 351].

Таким образом, весьма вероятно, что в мужичке из «Будней» проблематически соединились составляющие авторского самоописания (мифология литературных и родовых связей с Жуковским и Толстым) с аллюзией на цепочку образов самоучек, которые это приближение инвертируют: бесполезность их посягательств на культуру подводит читателя к мысли о самой культуре как о замкнутом аристократическом пространстве, путь в которое лежит через какие-то иные сферы, нежели урбанизация («я все лето прошлый год в Липецке прожил»), грамотность и даже сам литературный дар.

Список литературы

1. Брюсов В. Я. Среди стихов, 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / Вступ. ст. и коммент. Н. А. Богомолова. М.: Сов. писатель, 1990. 714 с.
2. Бодрийяр Ж. Радикальная экзотика // Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. М.: Добросвет, 2000. С. 215–230.
3. Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 4. 703 с.
4. Крутикова Л. В. В мире художественных исканий Бунина (как создавались рассказы 1911–1916 гг.) // Лит. наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84, кн. 2. С. 90–120.

¹⁶ О значении статьи для молодого Бунина см.: [31].

5. *Berdnikova O.* «Tout est sauvage et splendide, comme en Eden»: l'œuvre d'Ivan Bounine et l'exotisme // *Exotismes dans la culture russe / Éd. par L. Heller, A. Coldefy-Faucard.* Lausanne, 2009. P. 187–200.
6. Устами Буниных / Под ред. М. Грин: В 3 т. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977. Т. 1. 367 с.; 1981. Т. 2. 319 с.
7. *Сливицкая О. В.* Бунин и Восток (к постановке вопроса) // *Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та.* Воронеж, 1971. Т. 114. С. 87–96.
8. *Бройтман С. Н., Магомедова Д. М.* Иван Бунин // *Русская литература рубежа веков (1890 – начало 1920-х годов).* М.: Наследие, 2001. Кн. 1. С. 540–585.
9. *Мальцев Ю.* Иван Бунин. 1870–1953. Франкфурт-на-Майне; М.: Посев, 1994. 432 с.
10. *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1987. Т. 3. 671 с.
11. *Бунин И. А.* Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. А. К. Бабореко. М.: Сов. писатель, 1990. 416 с.
12. *Нинов А. М.* Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы творчества. Л.: Сов. писатель, 1984. 560 с.
13. *Ревякина И. А.* И. Бунин и М. Горький в диалогах на Капри: лица и лики России // *Творческое наследие И. А. Бунина: традиции и новаторство.* Орел: Картуш, 2005. С. 112–116.
14. *Кучеровский Н. М.* И. Бунин и его проза (1887–1917). Тула: Приокское кн. изд-во, 1980. 319 с.
15. *Сурнин М. Л.* Фигура сельского революционера в рассказе И. А. Бунина «Будни» // *Подъем.* 1982. № 11. С. 125–128.
16. Классик без ретуши: литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы): Антология / Под ред. Н. Г. Мельникова. М.: Книжница: Русский путь, 2010. 928 с.
17. *Карпенко Г. Ю.* Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самар. гуманитар. академии, 1998. 114 с.
18. *Бунин И. А.* Полн. собр. соч.: В 6 т. Пг.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркс, 1915. Т. 6. 335 с.
19. *Марullo Т. Г.* «Ночной разговор» Бунина и «Бежин луг» Тургенева // *Вопросы литературы.* 1994. Вып. 3. С. 109–124.
20. *Шмид В.* Нарратология. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. 302 с.
21. *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 479 с.
22. *Литке М. В.* 150 лет журналу «Вокруг света»: становление и развитие типологической модели // *Вестн. Том. гос. ун-та. Филология.* 2012. № 3 (19). С. 131–141.
23. *Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин И.* Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // *Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина.* М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 6–50.
24. *Белинский В. Г.* Избранные философские сочинения / Под общ. ред. и со вступ. ст. М. Т. Иовчука. М.: ОГИЗ, 1941. 562 с.
25. *Бунин И. А.* Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. 273 с.
26. *Бунин И. А.* Интервью «Московской газете» 23 июля 1912 г. // *Лит. наследство.* М.: Наука, 1973. Т. 84, кн. 1. С. 372–374.
27. *Морозов С. Н.* И. А. Бунин – литературный критик: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 207 с.
28. *Лекманов О.* Две заметки о «Легком дыхании» И. Бунина // *Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы.* Томск: Водолей, 2000. С. 217–221.

Из историко-теоретического комментария

29. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное). М.: ГИХЛ, 1952. Т. 34. 626 с.

30. Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов / Под ред. О. Н. Михайлова. М.: ИМЛИ РАН, 2007. 832 с.

31. Горлов В. П. Е. И. Назаров в жизни и творчестве И. А. Бунина // Творчество И. А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков. Елец, 2006. С. 362–367.

32. Вдовин А. Почему Митя читал Писемского? (к интерпретации повести И. А. Бунина «Митина любовь») // *Сop amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой*. М.: ОГИ, 2010. С. 65–72.

33. Бунин И. А. Поэт-самоучка. По поводу стихотворений Е. И. Назарова // Лит. наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84, кн. 1. С. 290–296.

K. V. Anisimov

Krasnoyarsk, Russia

**«YOU TRULY DESERVE EXAMINING».
THE GEOGRAPHICAL EXOTICS IN THE NARRATIVE STRUCTURE
OF I. A. BUNIN'S «PEASANT» SHORT STORIES
(«NOCTURNAL CONVERSATION» – «WORKDAYS»)
ARTICLE 1**

The role of the exotic geography motifs in the narrative structure of Bunin's 1910s short stories is examined. Their connection with the concepts of power and culture is brought to light.

Keywords: motif, narrative, exotics, power, culture.

Anisimov Kirill V. – doctor of philology, associated professor in the Department of Russian and Foreign Literature at Siberian Federal University (79 Svobodny Prospekt, Krasnoyarsk 660041; kianisimov2009@yandex.ru; +7 (391 2) 23 07 27)